

ИЛВФ

ИЛВФ



ДЛЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

ЕВГЕНИИ

ШЕТРОВ

Илья Ильф

**Собрание сочинений в пяти томах.
Том 5. Для будущего человека**

«РИПОЛ Классик»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

Ильф И. А.

Собрание сочинений в пяти томах. Том 5. Для будущего человека /
И. А. Ильф — «РИПОЛ Классик»,

ISBN 978-5-521-00404-1

Пятый том Собрания сочинений знаменитого дуэта разделен на две части: в первую вошли последние произведения И. Ильфа, в том числе его записные книжки; вторая часть состоит из произведений Е. Петрова, самое раннее из них датируется 1924 годом. В книгу также включены воспоминания Е. Петрова об И. Ильфе и К. Симонова о Е. Петрове.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-521-00404-1

© Ильф И. А.
© РИПОЛ Классик

Содержание

И. Ильф	6
Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе	6
1	6
2	8
3	10
4	12
Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе. К пятилетию со дня смерти	15
Рассказы. Очерки. Фельетоны (1923–1929)	19
Москва, страстной бульвар, 7 ноября	19
Рыболов стеклянного батальона	21
«Маленький негодяй»	23
Беспризорные	26
Перегон Москва – Азия	28
Глиняный рай	31
Азия без покрывала	34
Драма в нагретой воде	37
Сухое и мокрое	37
Крысы	37
Потоп	38
Борода в воде	38
Неразборчивый клинок	40
Банкир-бузотер	41
Пешеход	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Илья Ильф, Евгений Петров
Собрание сочинений в пяти томах.
Том 5. Для будущего человека

© Симонов К. М., наследники, предисловие, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,

2017

И. Ильф

Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе

1

Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились.

Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Галлопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий».

Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды».

Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?»

Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось.

Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы – трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдать ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь, не имеющем никакого отношения к нашей теме, – например, о Лиге наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга.

И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка – самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все – мучения кончались. Мы знали по опыту – если есть первая фраза, дело пойдет.

Но вот в городе Галлопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились.

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным – из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная – с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказала здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго – часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же – нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором.

Это был самый откровенный разговор за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачавшейся дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства. Уже очень давно, примерно к концу работы над «12 стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое.

– Если слово пришло в голову одновременно двум, – говорил Ильф, – значит, оно может прийти в голову трем и четверем, значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь, Женя, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения легкое дело?

Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой – еврей (загодочная еврейская душа).

Итак, работать нам трудно.

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол.

Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные...», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй.

Но тут начинается.

Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрав ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен.

Бывает и иначе.

Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон – не отвечать, пусть ломятся в дверь гости – вон! Писать, только писать. Будем прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе.

Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов.

Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно.

Один – здоров, другой – болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закуской а-ля фуршет. Но вот наконец прием окончился и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений.

Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь

запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а наблюдения поверхностными. Мы беспрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости.

Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четверем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Галлопе, штат Нью-Мексико.

Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу – «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь – двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны.

Но тогда, в Галлопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены.

Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

– Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать.

А через три недели жарким и светлым январским днем мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

– Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите?

Он кашлянул и показал мне платок.

Через год и три месяца 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера Ильф умер.

2

И вот я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость.

Как это было?

Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве.

В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков.

В Охотном ряду и в Обжорном ряду торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинками и лотками, медленно и нахально разбегались по переулочкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обочин стояли извозчики – странные экипажи с очень высокими колесами и узеньким сиденьем, на котором еле помещались два человека. Московские извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями – существа допотопные и к тому же пьяные. В том году милиционерам выдали новую форму – черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они красными палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением.

Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных молодых людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками.

Ильф повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевки в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистой фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичиках и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «12 стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца».

Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса.

Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатилетний человек в пенсне с маленькими голыми и толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осёл ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно: «Под суд!»

В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал остричь, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы: бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

3

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим мэтром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг. Но у нас был еще один мэтр, так сказать, профессиональный мэтр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже работал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом Старик Собакин¹. И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы. Однажды он вошел туда со словами:

– Я хочу стать советским Дюма-отцом.

Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы.

– Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? – спросил Ильф.

– Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа, – ответил Старик Собакин, – я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера – и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле.

Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно.

– Есть отличная тема, – сказал Катаев, – стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Seriously. Один роман пусть пишет Иля, а другой Женя.

Он быстро написал стихотворный фельетон о козликe, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда.

– Ну что, будем писать? – спросил я.

– Что ж, можно попробовать, – ответил Ильф.

– Давайте так, – сказал я, – начнем сразу. Вы один роман, а я другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

– А может быть, будем писать вместе?

– Как это?

– Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин.

– Как же вместе? По главам, что ли?

– Да нет, – сказал Ильф, – попробуем писать вместе, одновременно, каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе.

В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединен-

¹ Действительное написание псевдонима В. Катаева – «Старик Саббакин» (прим. ред.).

ные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными острьяками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли».

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект – двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план романа в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть.

– А уже тогда я пройдушь рукой мастера, – пообещал он.

Мы заныли.

– Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, – сказал Ильф, – вот по этому плану.

– Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться. И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года.

И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я. Ильф убедил меня, что мой почерк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя – Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди – председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи – мадам Петухова и название похоронного бюро – «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

– Давайте начнем просто и старомодно: «В уездном городе N». В конце концов не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова.

Иногда нас охватывало отчаяние.

– Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет наконец написана и мы будем везти ее в санках. Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение – работа окончена, больше ничего не надо делать.

Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших, густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия.

Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить – хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас и очень серьезно сказал:

– Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели.

– А как же рука мастера? – спросил Ильф.

– Не прибедняйтесь, Илюша. обойдетесь и без Дюма-пера. Продолжайте писать сами. Я думаю, книга будет иметь успех.

Мы продолжали писать.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним, как с живым человеком, и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья.

И вот в январе месяце 28 года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа!

Мы уложили рукопись в папку.

– А вдруг мы ее потеряем? – спросил я. Ильф встревожился.

– Знаете что, – сказал он, – сделаем надпись. Он взял листок бумаги и написал на нем: «Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу». И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки.

Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть.

Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.

4

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменялись вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти.

– Обязательно записывайте, – часто говорил он мне, – все проходит, все забывается. Я понимаю – записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя.

Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было.

– Худо, худо, – говорил Ильф, – обязательно надо записывать.

Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплету и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлаждения, книжечка забывалась в старом пиджаке и, наконец, торжественно приносилась домой новая.

Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, разграфленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил:

– Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева – сюжеты, идеи и мысли.

К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он, несомненно, любил эту толстую книгу, как носительницу совершенно правильной идеи – все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюды-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз.

После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые на треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками.

В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой.

Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал.

Разбирая записные книжки Ильфа, мы нашли заметки, касающиеся поездки в Среднюю Азию. Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины. Мельком услышанные рассказы какого-нибудь случайного попутчика, кусочек ландшафта, промелькнувший в окне вагона, цвет неба или моря, форма дерева или описание животного, – вот чему были посвящены его первые записи.

Это была, если можно так выразиться, писательская кухня.

Впоследствии, работая вместе, мы, прежде чем начать писать задуманную книгу, заготавливали на листах бумаги самые разнообразные наблюдения, сюжеты и мысли. Я уже говорил о том, что сейчас невозможно установить, кто что придумал. Но кое-что Ильф извлекал из своих записных книжек и требовал того же от меня.

Во время последнего путешествия по Америке мы купили пишущую машинку. Ильф очень увлекся ею. Ему нравился самый процесс печатания. В первый же вечер (это было в Нью-Йорке) он сел писать, вернее – печатать дневник. Он собирался делать это каждый день. Но поездка была так утомительна, что на дневник не хватало ни времени, ни сил.

Вернувшись в Москву, уже смертельно больной, Ильф снова вернулся к этой идее и стал регулярно записывать свои наблюдения, но уже не в форме дневника, а в виде коротеньких самостоятельных записей.

За последний год своей жизни он напечатал так около двух листов.

Эти заметки он делал весной 1936 года в Остафьеве и в Кореизе, затем летом на даче под Москвой, осенью – в Форосе и зимою, с 1936 по 37 год в Москве.

Эта последняя работа – не просто «писательская кухня». На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) – выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно.

Ильф знал, что умирает. Потому так грустны его последние записи. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

– Вы знаете, Женя, – говорил он мне, – я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними.

Только в двух местах рукописи Ильф вспоминает о своей болезни:

«...и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде».

«Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Это все, что он написал о себе.

1939

Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе. К пятилетию со дня смерти

Мы вместе поднимались в лифте. Ильф жил на четвертом этаже, я – на пятом, как раз над ним. Мы прощались и говорили:

- Так завтра в десять?
- Давайте лучше в одиннадцать.
- Я к вам или вы ко мне?
- Давайте лучше вы ко мне.
- Так, значит, в одиннадцать.
- Покойной ночи, Женя.
- До завтра, Илюша.

Железная дверь лифта тяжело, с дрожанием закрывалась, тряслась металлическая сетка. Я слышал, как Ильф звонил у своей двери. Лифт со скрипом поднимался еще на один этаж. Я выходил на площадку и слышал, как внизу хлопала дверь.

Так было почти каждый день, потому что писатель должен писать, и мы с Ильфом встречались каждый день и писали. Я вспоминаю, что вначале, когда мы стали писать вместе, мы не только сочиняли каждое слово, сидя рядом или друг против друга за столом (это было вроде двух пианистов, исполняющих пьесу на двух роялях), но писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам.

Привычка думать и писать вместе была так велика, что, приступая к сочинению нашей последней книги – «Одноэтажной Америки», которую мы писали порознь, по главам, мы очень мучились. Ильф был уже болен в то время, и мы жили летом тридцать шестого года в совершенно противоположных дачных районах. Мы составили план и, так сказать, для затравки вместе написали первую главу. Потом разъехались по домам, распределив, кто какую главу будет писать. Мы решили встретиться через месяц с громадными рукописями.

Помню, что я просидел за пустым листом бумаги целый день, и целую ночь, и потом опять целый день – и не мог сочинить ни строчки. Все мешало мне: и собачий лай, и гармоника, и радио на соседней даче, и даже вороны, устроившие базар на высоких елях.

В отчаянии я поехал к Ильфу, в Красково, где он снял на лето маленький домик. Там была песчаная почва и сосны, и считалось, что это подходящее место для больного туберкулезом.

Ильф очень мне обрадовался, даже как-то неестественно бурно обрадовался. Мы сразу же, как заговорщики, ушли в сад. Меня он усадил в гамак, а сам сел рядом, на скамеечку.

- Знаете, Женя, – сказал он, – у меня ничего не получается.

Он снял свое маленькое голое пенсне с толстыми, толщиной в мизинец стеклами, протер глаза костяшками пальцев, снова надел пенсне и посмотрел на меня как встрепанный.

Я сказал, что приехал к нему с такою же печальной новостью. Мы даже не рассмеялись. Дело было слишком серьезным. Мы долго думали и наконец решили, что нас обоих утратил объем задачи и что нам следует написать всего лишь по одной главе, и тогда я приеду к нему, мы выправим рукопись, подробно обсудим следующие две главы, снова встретимся, и так далее, пока не кончим книгу. Мы решили писать смело, ведь все равно потом мы вместе будем править.

Я очень волновался, когда через три дня ехал к Ильфу со своей первой в жизни, самостоятельной написанной главой. Никогда я так не боялся критики, как тогда. Сначала Ильф показал мне свою главу. Пока я читал ее, он то заглядывал мне через плечо, то прохаживался по террасе, тяжело дыша. Видно, он испытывал то же чувство, что и я.

Я читал и не верил своим глазам. Глава Ильфа была написана так, как будто мы писали ее вместе. Ильф давно уже приучил меня к суровой критике и боялся и в то же время жаждал

моего мнения, так же как я жаждал и боялся его суховатых, иногда злых, но совершенно точных и честных слов. Мне очень понравилось то, что он написал. Я не хотел бы ничего убавить или прибавить к написанному.

«Значит, выходит, – с ужасом думал я, – что все, что мы написали до сих пор вместе, сочинил Ильф, а я, очевидно, был лишь техническим помощником».

– Мне нравится, – сказал я, – по-моему, ничего не надо изменять.

– Вы думаете? – спросил он, не скрывая радости. – Когда я работал, мне все время казалось, что я пишу какую-то чепуху.

Я вынул из бокового кармана свою главу и хотел бодро сказать: «Теперь прочтите этот бред», или что-нибудь в таком же роде, но не смог произнести ни слова. Я молча протянул ему рукопись. Я всегда волнуюсь, когда чужой глаз впервые глядит на мою страницу. Но никогда, нигде ни до, ни после, я не испытывал такого волнения, как тогда. Потому что то был не чужой глаз. И то был все-таки не мой глаз. Вероятно, подобное чувство переживает человек, когда в тяжелую для себя минуту обращается к своей совести.

Ильф долго, внимательно читал мою рукопись. Потом сказал:

– Мне нравится. По-моему, хорошо.

Как быстро разрешилось то, что нас мучило! Оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль. А стиль нельзя создать искусственно, потому что стиль – это литературное выражение пишущего человека со всеми его духовными и даже физическими особенностями. На мой взгляд, стиль – это то, что не поддается даже анализу (во всяком случае, уже после смерти Ильфа один чрезвычайно умный, острый и знающий критик проанализировал нашу «Одноэтажную Америку» в твердом убеждении, что он легко определит, кто какую главу написал, но не смог правильно определить ни одной главы). Очевидно, стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе.

Итак, книга была написана быстро и без особенных мучений в течение лета. Но зимой 36–37-х годов мы снова стали писать вместе, как писали всегда. Мы написали так большой рассказ «Тоня» и несколько фельетонов.

В начале апреля я спустился в обычное время к Ильфу. Он лежал на широкой тахте (он обычно спал на ней, а на день постельные принадлежности прятались в ящик) и читал Маяковского. На тахте и на полу лежали газеты, которые он уже просмотрел, и несколько книг. Ильф читал очень много и очень любил специальную, в особенности военную и морскую литературу. Я помню, что когда мы познакомились с ним – (в 1923 году), он совершенно очаровал меня, необыкновенно живо и точно описав мне знаменитый Ютландский бой, о котором он вычитал в четырехтомнике Корбетта, составленном по материалам английского адмиралтейства. «Представьте себе, – говорил он, – совершенно спокойное море, – был штиль, – и между двумя гигантскими флотами, готовящимися уничтожить друг друга, маленькое рыбацье суденышко с повисшими парусами».

В тот день он читал Маяковского.

– Попробуйте перечитать его прозу, – сказал Ильф, поднявшись и отложив книги, – здесь все отлично.

Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность.

Мы сели писать. Ильф выглядел худо. Он не спал почти всю ночь.

– Может быть, отложим? – спросил я.

– Нет, я разолдусь, – ответил он. – Знаете, давайте сначала нарежем бумагу. Я давно собираюсь это сделать. почему-то эта бумага не дает мне покоя.

Недавно кто-то подарил Ильфу добрый пуд бумаги, состоящей из огромных листов. Мы брали по листу, складывали его вдвое, разрезали ножом, потом опять складывали вдвое и опять разрезали. Сперва мы разговаривали во время этой работы (когда не хотелось писать, всякая работа была хороша). Потом увлекались и работали молча и быстро.

– Давайте, кто скорей, – сказал Ильф.

Он как-то ловко рационализировал свою работу и резал листы с огромной скоростью. Я старался не отставать. Мы работали не поднимая глаз. Наконец я случайно посмотрел на Ильфа и ужаснулся его бледности. Он был весь в поту и дышал тяжело и хрипло.

– Не нужно, – сказал я, – хватит.

– Нет, – ответил он с удивившим меня упрямством, – я должен обязательно до конца.

Он все-таки дорезал бумагу. Он был все так же бледен, но улыбался.

– Теперь давайте работать. Только я минутку отдохну.

Он отклонился на спинку стула и посидел так молча минут пять.

Потом мы стали писать юмористический рассказ о начальнике учреждения, ужасном бюрократе, который после волны самокритических активов решил исправиться, стать демократичным и тщетно зазывал посетителей в свой кабинет. Писать не хотелось. Писали, как говорится, голой техникой. Мы дописали до половины.

– Докончим завтра, – сказал Ильф.

Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа.

– Значит, завтра в одиннадцать, – сказал Ильф.

– Завтра в одиннадцать.

Тяжелая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок – последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом.

Я никогда не забуду этот лифт, и эти двери, и эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью лестницы нового московского дома. Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером «25» и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь синие подушки с кислородом. Я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что, когда носят подушки с кислородом, – это конец. И твердо верил, что, когда придет знаменитый профессор, которого ждали уже часа два, он сделает что-то такое, чего не смогли сделать другие доктора, хотя по грустному виду этих докторов, с торопливой готовностью согласившихся позвать знаменитого профессора, я мог бы понять, что все пропало. И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая шубы, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.

И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер. Окно было широко раскрыто, и по комнате свободно гулял холодный апрельский ветер, шевеливший листы нарезанной Ильфом бумаги. За окном было темно и звездно.

Это случилось пять лет назад. Об этом последнем своем апреле Ильф написал в записной книжке: «Люблю красноноую весну».

Пять лет – очень короткий срок для истории. Но событий, которые произошли за эти пять лет, хватило бы ученому, чтобы написать историю века.

Я всегда думаю, что сказал бы Ильф об этих событиях, если бы был их свидетелем. Что он сказал бы и что делал теперь, во время Отечественной войны? Конечно, он делал бы то,

что делаем все мы, советские люди, – жил бы для войны и победы и жил бы только войной и победой.

Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф. Он был принципиален до щепетильности, всегда откровенно говорил то, что думает, никогда не хвастал, глубоко и свирепо ненавидел все виды искательства и подхалимства (и особенно самую противную его разновидность – литературное подхалимство). Он прекрасно знал цену дутой славы и боялся ее. Поэтому он никогда не занимался так называемым устройством литературных дел, не просил и не желал никаких литературных привилегий. Это ему принадлежит выражение – «Полюбить советскую власть – этого мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила». И он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему, труд человека, по выражению Маяковского, вылизывающего «чахоткины плевки шершавым языком плаката».

1942

Рассказы. Очерки. Фельетоны (1923–1929)

Москва, страстной бульвар, 7 ноября

В час дня

По Тверской летят грузовики, набитые розовыми детскими мордочками.

– У-р-р-а!

Мордочки и бумажные флажки улетают к Красной площади. Дети празднуют Октябрь. За ними, фыркая и пуская тоненький дым, грохочет зеленый паровоз М.-Б.-Б ж. д.

Прошли железнодорожники – идут школы. Школы прошли – опять надвигаются рабочие.

– Долой фашистов!

Через Страстную площадь проходят тысячи и десятки тысяч.

Тысячи красных бантов.

Тысячи красных сердец.

Тысячи красных женских платочков.

Манифестации, растянувшиеся по Страстному бульвару, терпеливо ждут своей очереди.

Десять часов. Одиннадцать. Двенадцать.

Но от Ходынки, от Триумфальных ворот все валит и валит. Вся Москва пошла по Тверской. Так зимой идет снег, не перерываясь, не переставая.

И в ожидании колонны рабочих на бульваре развлекаются чем могут.

Усердно и деловито, раскрывая рты, как ящики, весело подмигивая, поют молодые трактористы, старые агрономы, китайцы из Восточного университета и застрявшие прохожие. Поют все.

Вздувайте горны, куйте смело...

Кончив петь, становятся в кружок и весело, молодые всегда веселы, громко на весь мир кричат:

– Да здрав-ству-ет гер-ман-ска-я ре-во-лю-ци-я! Смотрят на итальянцев, стоящих поближе к Петровке, смотрят на их знамя, читают надпись:

– А морте ла боргезиа мондиале!

– Буржуазия! – догадывается тракторист.

– А мондиале, что такое?

Итальянец в мягкой шляпе улыбается, все его тридцать два зуба вылезают на улицу, и он говорит:

– А морте! – и трясет кулаком.

– А морте – смерть! Ла боргезиа мондиале – мировая буржуазия! Смерть мировой буржуазии! А морте ла боргезиа мондиале!

Итальянец радостно хохочет и снова подымает кулак. Кулак большой.

– Фунтов пять в кулаке-то, а? Трактористы хохочут.

А по Тверской все идут.

Мы, молодая гвардия...

Это есть наш последний...

Остальное теряется в ударах барабана. Это, поворачивая с Петровки на бульвар, возвращается с парада конница.

Колеблются и наклоняются пики. На пиках трепещут и взволнованно бьются красные и синие, треугольные флажки.

Потри в ряд, всадники проходят мимо жадных глаз.

– Первая конная!

– Да здравствует Первая конная!

– Качать!

Десяток рук подымается и протягивается к первому кавалеристу.

– Не надо, товарищи! Товарищи, неудобно ведь! Нас там позади много. Задержка будет!

Но он уже схвачен. Его стаскивают с седла. Он уже не отбивается. Он счастливо улыбается, неловко переворачивается в воздухе и кричит:

– Лошадь, придержите лошадь! Опять взлет, еще раз, еще раз.

Кавалерист радостно что-то кричит, качающие тоже страшно довольны. Наконец кавалериста отпускают. Еще не отдышавшись, он торопливо садится на лошадь и, уже отъезжая, кричит:

– Спасибо, товарищи!

Конница топчет и быстро скачет под дружеские крики.

– Ура, красная конница! – кричат в толпе.

– Ура, рабочие! – несется с высоты седел.

– Качать! – решает толпа.

И, придерживая сабли, кавалеристы снова летят вверх.

Их окружают, им не дают дороги.

– Возьми, братишка!

Дают папиросы – все что есть.

Работа кипит. Покачали, дали папиросы, дальше.

И, слегка ошеломленные этим неожиданным нападением, кавалеристы козыряют и исчезают.

Конная артиллерия проносится на рысях. Пушки подпрыгивают и гремят на каменной мостовой. Ее тяжелый бег ничем не удержать.

Но солдата с флажком, замыкающего отряд, все-таки качают. Напоследок качают особенно энергично. Бедняга летит, как пуля.

Между тем дорога освобождается.

– На места! На ме-ста!

Кавалерист догоняет свой отряд, колонны строятся, оркестры бьют:

Ни бог, ни царь и ни герой...

Колонны идут на Красную площадь, чтобы в шестую годовщину Октября повторить в тысячный раз:

– Дело, начатое в октябре семнадцатого года, будет продолжено, и мы его продолжим.

1923

Рыболов стеклянного батальона

– Посмотрел я на эту рыбу...

Человеку, который это говорил, было тридцать лет. А мы валялись по углам вагона и старались не слушать.

– После рыбы хорошо пить чай, – продолжал голос.

Мы, это – первый взвод батальона. Никому не было известно, какого полка мы батальон. Числом мы тоже подходили: всего шестьдесят человек. Но нас называли батальоном.

– Стеклянный батальон! – сказал комендант Гранитной станции, когда нас увидел.

– Рвань! – добавил комендант. – Я думал, хороших ребят пришлют, а они все в очках!

Мы остались на охране Гранитной. Потом комендант переменял свое мнение, но кличка пошла в ход, и мы так и остались стеклянным батальоном.

– Посмотрел я на эту рыбу...

Никто даже не шевельнулся. От пылающего асфальтового перрона, шатаясь, брел ветер. Горячий воздух сыпался как песок.

Это был девятнадцатый год.

Я поднялся и вышел. Лебедь пошел за мной. Это он рассказывал про рыбу. Он всегда говорил о ней. Далась ему эта рыба.

Я пошел на станцию. Лебедь двинулся в противоположную сторону, и я знал, куда он идет.

Было очень скучно и очень жарко. Охрана станции – дело простое, а газеты не приходили уже вторую неделю.

Разгоряченный асфальт обжигал подошвы, с неба, треща и все разрушая, сыпалась жара.

У стенки, в тени, где стоял накрытый гимнастеркой пулемет, я обернулся. Лебедь уже был далеко. Виднелась только его плывущая в пшенице голова.

– Куда пошел? – закричал я.

Голова обернулась, что-то прокричала и унеслась дальше. Впрочем, я знал, куда пошел Лебедь.

Ему было идти версты полторы. До пруда. Там он удил рыбу, о которой говорил.

– Все к ней ходит? – спросил пулеметчик, зевая.

– Ходит, – сказал я. – А что слышно?

– Да ничего. Мохна, говорят, у Татарки стоит. Врут. Чего ему сюда идти? Не его район! А насчет рыбы Лебедь, конечно, запарился. Мне стрелочник говорил. Никогда ее там и не во дилось.

Я ушел.

История рыбы такая. Видел ее в этом пруду один только Лебедь.

– Длинная и толстая. Вроде шуки.

Смеялись над ним сильно. Ну, откуда же в пересохшей луже рыба? Дела нет, скучно – и пошел смех, один раз вечером даже спектакль об этом устроили.

Первый акт. Сидит Лебедь и свою любовь к рыбе доказывает. Второй акт. Рыба свою любовь к Лебедю доказывает. Третий акт. Показывают ребенка грудного, который от этих доказательств произошел.

Совсем неостроумно. Ребенка у сторожихи одалживали. Очень скучно уж было и жарко. Однако Лебеда этим довели до каления. Сидит и только об одном:

– Посмотрел я на эту рыбу.

Просто бред. Поклялся Лебедь, что эту рыбу поймает и все докажет.

Если человек захочет, то все сможет. Из всякой дряни Лебедь сколотил себе удочку и днями сидел над своей помойницей-лужей.

Комендант и рыболовом его называл и вообще крыл – не помогало. Дежурство кончит, о рыбке поговорит и сейчас же к ней на свидание. Удочку несет и винтовку. Без винтовки нам отходить от станции не позволяли.

Солнце в беспамятстве катилось к закату. Телеграфные провода выли и свистели. Швыря белый дым, вылез из-за поворота паровоз и снова ушел за поворот. В пшенице кричала и плакала мелкая птичья сволочь. Солнце сжималось, становилось все меньше и безостановочно падало. Луна пожелтела, и поднялся ветер.

Батальон вылез из темных углов, где прятался от жары. Семафор проснулся и открыл зеленый глаз.

Пришел долгожданный вечер. Лебеда все не было. Черные тени уцепились за станционные постройки и попадали на рельсы.

– Не рыбу он видел, а русалку! Сам же он говорил, что только хвост видел! Разве человек из-за рыбы станет, как головешка? Рыба, рыба... У ней только хвост рыбий.

Комендант вышел из телеграфа, засовывая в карманы узенькие ленточки телеграмм, и сейчас же пошел переполох. То, что казалось выдумкой днем, вечером сделалось правдой. В Татарке сидели банды.

Фонари шипя погасли. Гранитную захлопнуло темнотой. Первый взвод нахмурился и забросил за спину винтовки.

Первый взвод, мой взвод и взвод Лебеда, выступал в сторожевое охранение на версту в сторону Татарки.

– Где Лебедь? – кричал комендант. – Ну, я этому рыболову покажу! Никогда его на месте...

Комендант не кончил. Со стороны пруда грохнул и покатился выстрел. Потом еще два. Остальное сделалось вмиг.

Первый взвод никуда не пошел. Идти было уже некуда: шли к нам.

Пулемет затарахтел по перрону и пошел в бок. Я посмотрел в лицо залегшего со мной рядом. Оно было желтое от света желтой луны. И сейчас же ударил пулемет. Внезапная атака махновцам не удалась. Гранитная уже была предупреждена выстрелами с пруда.

Тишина пропала. Все наполнилось звоном, грохотом и гулом. В черное лакированное небо полетели белые, розовые и зеленые ракеты. Из цепи брызгали залпами. Луна носилась по небу, как собака на цепи. Тишина пропала. Атака пропала. Они не дошли даже на триста шагов. Вслед резал пулемет. Вслед в спину нагоняли пули. Атака была отбита.

Атака была отбита, но на другой день мы хоронили Лебеда.

– Я, товарищи, плохо такие речи говорю, – сказал комендант. – Что говорить? Не сиди он там у пруда вчера – еще неизвестно, что было бы! Может, их сила была бы! Могли взять врасплох!

А стеклянный батальон кидал землю на могилу рыболова. Но в тех рассказах, которые шли потом, его больше рыболовом не называли. А сторожиха плакала даже.

1923

«Маленький негодяй»

Все удалось скрыть, кроме цены на арбузы. Цена эта, выросшая за неделю впятеро, внесла некоторый испуг. Потом стало еще хуже. Арбузы исчезли вовсе.

Крошечная арбузная гавань, тесно заставленная барками, гавань, которая из-за плававших в ней арбузных корок походила на чудесный персидский, нежно-зеленый и светло-розовый ковер, эта гавань в несколько дней опустела, стала геометрически пустой и пугающе правильной.

Парусники ушли и обратно с арбузами больше не возвращались.

Газеты выходили исправно и каждое утро накачивали читателей брехней о светлом будущем.

Те, кто понимал, почем фунт лиха, не верили и пили. Они уже поняли, что Трифоновка (место, откуда возили арбузы) занята большевиками.

Те, которые верили газетным клятвам, тоже пили. Чтобы поверить, надо было пить.

Стенька Митрофанов газет не читал и ничего не пил. Вода не в счет. Но о том, что должно было случиться, он знал хорошо.

У него был длинный, мальчишеский, мокрый язык, и поэтому он навсегда потерял для себя теплый, мусорный ящик, где блаженно спал во все зимние ночи.

– Холера тебе в бок! – орал управляющий тем домом, где находилась пышная Стенькина спальня. – Я тебе покажу большевиков! Во-н! У тебя, хулиганская морда, вырастет борода до колена, прежде чем они сюда придут!

И в этот оглушительный, гудящий весенний день случилось три очень важных для Стеньки события.

Я уже рассказал, что он потерял свой ночлег. Кроме того, он еще покрывся неувыдаемой славой. Это главное, но об этом потом. И еще – он отомстил управляющему. Я не хочу порочить Стеньку, он мне даже друг, но он украл петуха. Конечно, это был петух управляющего.

Петух кричал, как роженица, и бешено крутил глазом. Стенька мчался по мокрому светлону от воды асфальту и удушливо хохотал.

Так, смеющиеся, орущие и растрепанные, оба они очутились перед желтым дворцом главнокомандующего.

Для караула, стоявшего у гигантских арочных ворот, появление возмутительного обормыша и воющей птицы было почти смертельным оскорблением и невыносимым нарушением порядка.

Раздался короткий свисток.

Стенька опасливо осмотрелся, приготовился к отлету и крепче прижал к себе петуха. Петух не выдержал адского объятия и душераздирающе запел отходную.

Расстроенная куча австрийских жандармов устремила на Стеньку, желая немедленно и дотла искоренить очаг воплей и суматохи. Стенька оцепенел, считая здоровеннейшие кулачища, которые неслись на него, и предчувствуя бесславные побои.

В ту же секунду голубое небо жутко загудело и лопнуло. Воздушный вал навалился на Стеньку, земля дернулась, выскочила из-под ног, и Стенька обрушился. Кругом все рвалось и тряслось от страшного бомбового разрыва.

Ослепленная и задушенная кучка развалилась. Стенька, погребенный под пятипудовыми животами, трепетал.

Сверкнуло еще раз, стало непереносимо тихо, и все, что могло еще ходить, ринулось в дворцовый подъезд, увлекая с собой ошеломленного Стеньку и агонизирующего петуха. С крыши по налетевшему аэроплану задрезали пулеметы.

В подъезде Стеньку прижали к огромной красивой двери. Стенька никогда еще не видел такой. Но, нахлыстываемый страхом, он не стал разбираться и поскакал по лестнице вверх, захватывая ногами по три ступеньки сразу.

На втором пролете он опомнился и остановился. Сверху катились бледные лица и стучали сабли. Все это сбегало вниз, не замечая Стеньки и не обращая на него внимания.

Петух недовольно забормотал, и это вывело Стеньку из оцепенения. Решив, что жандармы внизу опаснее бомб сверху, он сделал чудовищный прыжок, влетел в огромную залу и, завопив от неожиданности, с размаху остановился.

Зала не имела конца. Стен залы не было видно. Огромные паркетные площади уходили вдаль, вперед, вправо, влево и терялись в стальном дыму. И все это колоссальное пространство было битком набито голодранцами и петухами. Сто тысяч голодранцев и сто тысяч петухов.

Стенька ахнул и опустился на пол. Петух вырвался, побежал по паркету, поскользнулся и смешно упал на бок. Сто тысяч голодранцев тоже присели, и сто тысяч петухов сразу упали. Стенька радостно захохотал, поднял руки и сказал:

– Дураки!

Голодранцы разом раскрыли рты и подняли руки.

– Как на митинге! – сказал Стенька. – Опустите руки, сволочи!

И сам опустил. Все руки разом упали. Это была зеркальная зала, и все Стеньки были один Стенька. Зала была пустая.

Стенька подобрал петуха и подошел к окну.

Я не могу и никто не сможет точно описать того, что случилось со Стенькой. Он прыгал под потолок, и петух летел туда вместе с ним, проклиная тот позорный час, в который Стенька его украл.

Причину Стенькиной радости можно было увидеть из окна.

Внизу, в порту, по Приморской улице, поминутно останавливаясь и прячась за выступы домов, перебегали три солдата. Земля задрожала, и впереди солдат выскочил пышущий, полный треска, броневик. Красный флаг метнулся и пропал за высоким зданием. С моря, с большого рейда, палили окаменевшие громады броненосцев. Испуганное небо хоронилось под черным дымом. Это была знаменитая атака красных с суши и с моря 11 апреля.

В пустой зале грохотали восторженные крики Стеньки:

– В будку! Долой кайзерликов! Амба австриякам и...

Стенька поспешно обернулся на треск паркета. Прямо на него, к выходной двери, ломая паркет тяжестью своего тела, шел венгерский офицер.

Он шел в несчастную минуту, в то время, когда через края Стенькиного сердца переливалась отвага, когда этот «маленький негодяй» воображал, что именно он из своего высокого окна руководит атакой города. Но венгерец видел только малыша и торопливо шел к двери. Сверкая всем лицом и любезно, по-детски, улыбаясь, Стенька ждал.

Офицер приближался, хрустальная люстра нервно шевелила своими цацками и звенела. Стенька ждал и не сходил с дороги. Офицер недоуменно и высокомерно покосился, но не свернул.

Давид ждал своего Голиафа. Голиаф самоуверенно стремился к гибели. Как только расшитый рукав венгерской куртки поравнялся со Стенькиным носом, разразилась катастрофа. В эту же минуту Стенька покрылся неувыдаемой славой.

Через час куча красноармейцев, появившаяся в широких и высоких дверях зеркальной залы, изумленно созерцала весьма странный пейзаж.

В самом конце залы на полу сидел венгерский офицер. Вместо лица у него было одно негодование и обида.

В пятнадцати шагах от него, держа в руке крошечный, сиявший, как серебряное солнце, браунинг, стоял Стенька.

– Сиди, сиди, – шептал Стенька. – А то стрелять буду!

Между Стенькой и венгерцем расхаживал петух, лишенный главного своего атрибута – разноцветного хвоста. Сердце же петуха было разбито. Он уныло рассматривал себя в зеркалах и горько причитал о своей тяжелой потере.

Из всех трех доволен был только Стенька. Сзади раздалось хихиканье. Стенька посмотрел вперед в зеркала и увидел стоявших в дверях красноармейцев. Он угрожающе махнул браунингом в сторону офицера и кинулся к дверям.

Там, хохоча и плача, он бешено врал о своих подвигах. Его перебили:

– Как же ты такого слона взял?

Стенька горделиво завертелся вокруг себя, как смерч, и ляпнул:

– Ой! Он идет на меня, а я подножку раз, он встал, я вторую, а потом петухом, петухом по морде, по морде. Так он с перепугу даже браунинг потерял. А петух без хвоста. Сильно бил.

В зеркалах четыреста тысяч красноармейцев приседали от смеху и тормошили «маленького негодяя» и маленького героя Стеньку.

1924

Беспризорные

Ветер кроет с трех сторон. Сугробы лежат крепостным валом. Метель рвет и крутит снежным пухом и прахом. Улица мертвеет.

Мимо окаменевших извозчиков бредет закутанная в невообразимое барахло (семь дыр с заплатками) маленькая фигурка.

Днем фигурка бегала и отчаянно защищала свою крошечную жизнь – выпрашивала копейки у прохожих, забегала отогреться в полные чудесной, хлебной духоты булочные, жадно вгрызалась глазом в туманные витрины, где напиханы великолепные и недостижимые вещи – штаны и колбаса, хлеб и теплые шарфы.

Но теперь поздно. День доеден до последней крошки. Двенадцать часов. Ветер и снег. Магазины закрыты, прохожих нет, надо искать ночевку.

Тысячи живущих в Москве не знают, что такое ночлег беспризорного. Мусорный ящик, беспримерно вонючий, но теплый, это блаженство. Но в мусорный ящик попасть трудно, дворники зорко стерегут это сокровище. Парадная лестница тоже прекрасный и тоже трудно находимый ночлег.

Беспризорному долго выбирать не приходится. Мороз тычет в щеки и хватает за ноги.

Если найдется асфальтовый чан, беспризорный спит в чану. Спят в яме, если отыщется яма. Но приходится спать и на снегу, укрывшись сорванной со стенки театральной афишей, подложив под щеку одеревенелый кулачок. Спят где попало и как попало. Это в городе. А есть еще вся Россия, бесчисленные населенные пункты, станции и вокзалы. Какой транспортник не видел на своей станции таких же картин?

Тысячи детей, ставших после голода двадцать второго года одинокими в самом точном смысле этого слова, живут и растут на улице. Так ребенок долго не проживет – срежет болезнь, недоедание или задавит мороз.

Но если даже удастся кое-как набить желудок, сохранить тельце от нагаечного мороза, тогда еще остается улица, ночлежка, Хитров рынок.

«Улица» дышит гнилью и гибелью. «Улица» даром с рук не сходит. В комиссию по делам о несовершеннолетних ежедневно доставляют детей, замеченных в правонарушениях.

Этот мальчик пробрался на кухню, примус украл. И этот крал и этот. В большинстве случаев – кражи. А эта маленькая – это уже посерьезней – это проституция.

Ночлежка – это школа и даже «университет» преступлений. Ребенок, попавший туда, в отличное общество подонков, быстро обучается в ночлежке на Гончарной: при опросе сорок пять процентов детей сознались, что они «нюхают».

Детей надо спасать. Советская власть еще в двадцать первом году осознала всю важность детской беспризорности. Мы имеем многочисленные детские учреждения и воспитываем большие тысячи детей.

Но всего этого мало. Мало денег, и «улица» по-прежнему еще продолжает губить детей. Приток их в Москву, даже из самых отдаленных мест беспрерывно продолжается.

И вот рабочая Москва в первую голову, а за ней вся трудовая Россия, всерьез взялась помочь голодным и одичавшим детям. Рабочие делают отчисления, производится обложение нетрудового элемента, организовано общество «Друзей детей», имеющее триста тысяч членов. Вербовка «друзей детей» ведется широчайшим фронтом. Предполагается в общество завербовать пятьсот тысяч человек. Наконец, несомненно, гигантскую помощь окажет «фонд Ленина».

Дети, о которых завещал Ленин, будут спасены!

Тут дело не только в одних деньгах. Когда буржуазия разводила филантропию в своих приютах, она убирала с улиц «некрасивое» зрелище детского нищенства и растила нравственных калек.

Нам надо сделать иначе. Надо устроить беспризорных так, чтобы у них появилось желание учиться и работать. Относительно ребят младшего возраста – дело простое. Их нужно устроить в лучшие детские дома, окружив их особым вниманием. Главная трудность с подростками, которых «улица» уже сломала, которые в досталь хлебнули горя, озлобились, исхулиганились. Они плохо приспособляются к жизни детского дома.

Надо устраивать для них ночлежки, сколачивать их в коммуны, втягивать в ученье и самое главное – создать возможность трудового заработка.

Такие трудовые коммуны беспризорных уже есть. Они есть уже во многих городах, и в Ленинграде, и в Москве.

В Сокольниках. Порядком разрушенная дача, но ребята, пятьдесят два человека, держатся довольно стойко. Зарабатывают тем, что готовят бумажные пакеты. Работа до четырех, затем клубные занятия. На Арбате, в Калошном переулке, десять мальчиков, шестнадцать девочек. Пошивочная мастерская. Серпуховская площадь, Валовая улица. Сапожная и пакетная мастерские.

Беспризорные дети, как правило, очень предприимчивы, живы и наблюдательны: маленькая, но полная лишений жизнь многому учит. Вот эти раздеты (пальто одевает тот, кто идет в город), а есть своя стенная газета. Управляются они сами, много трудятся и гордятся своей организацией.

Маленькие теперь, они скоро станут большими. Они не хотят быть ворами и бездельниками. Они хотят вырасти в больших и честных людей. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Они знают почем фунт лиха и больше этого лиха не хотят.

Им надо помочь. Помочь должны мы, у которых уже крепкие руки, те, кто видит беспризорных каждый день, каждый день и каждую ночь может сам убедиться, что этих легендарных лишений дети переносить не могут и не должны.

Беспризорного мальчика надо воспитать рабочим, девочку – работницей.

В Советской республике не может быть покинутого ребенка. *Лучше чем кто бы то ни было это должен знать транспортник. Мимо него по железным путям перекатывают эти тысячи детишек. Больше чем кто бы то ни было транспортники нагляделись на страшное зрелище бедствий маленьких ребят.*

И можно не сомневаться в том, что та твердая воля, которой в полной мере владеет железнодорожный пролетариат, обратится в числе других важнейших задач и на ликвидацию детской беспризорности.

1924

Перегон Москва – Азия

Последние пакеты и тюки газет летят в темноту багажного вагона. Двери его захлопываются, и ташкентский ускоренный быстро выходит из вокзала.

За Перовым полотно дороги пересекают тонкие железные мачты Шатурской электростанции. Их красная шеренга делает полкруга и скрывается в зеленом лесу.

Поезд идет картофельными полями, под мягким небом. К вечеру начинаются страдания поездной бригады.

– Делегация села!

Беспризорных «делегатов», скромно засевших в угольных ящиках под вагонами, выволакивают.

Но это лишний труд.

«Делегат» от поезда не отстанет. Утром его белая голова, казалось, навсегда покинутая в Рузаевке, сонно и весело трясется на подножке вагона, мотающегося перед Сызранью. Зло неискоренимо. Даровитый прохвост продолжает свое путешествие за рыжую Волгу и далее.

Пропитывается «делегат» тем, что на больших остановках распевает антирелигиозные куплеты:

Поп кадит кадилою,
Все глядит на милую.
Господи, помилую
Степаниду милую.

Среди одичавших в долгом пути пассажиров куплет пользуется громовым успехом. В шапку «делегата» обильно падают медяки.

Проходят в небе антенны мощного оренбургского радио. Стрелочник-киргиз в войлочной шляпе провожает поезд на выходной стрелке. У него желтое лицо, черные прямые волосы и толстые губы. Поезд идет уже по территории Казахстана.

От московских облачных, лепных небес нет следа. Над огромной республикой киргизов блещет вечное солнце.

Круглые юрты кочевников стоят в необозримых ковыльных степях. Легкий ветер трогает пушистые стариковские бороды ковыля, раскачиваясь, проходят верблюды, и цветными кучами рассыпаны стада.

Перевалив Мугоджарские горы, поезд входит в пески. Ослепительно и невыносимо для глаза горят на солнце кристаллы пересохших соляных озер. Поросли потерявшей цвет клочковатой дряни прерываются темно-синей неподвижной громадой Аральского моря.

Станционные бабы торгуют трехаршинными осетровыми балыками и засушенным до полного одеревенения лещом – самым соленым товаром, какой только можно найти в этой горькосолоной стране.

Но жирные, лоснящиеся на доведенном добела солнце, рыбы привлекают немногих.

Пассажиры набрасываются на кумыс и ледяное кислое молоко. Замаранный по уши кочегар спрыгивает с паровоза и бежит к молоку. И сам дежурный по станции на минуту свертывает свои флажки и глотает чудесное холодное месиво.

Дальше степь все бурее, становится какого-то верблюжьего цвета и, наконец, переходит в перворазрядную, захлебывающуюся в горячем ветре пустыню.

В палящей тишине поезд пробегает свои перегоны. Здесь станции стараются возможно больше окружить себя деревьями.

Но полтора десятка насквозь пропыленных деревьев в станционном палисаднике – это неисчерпаемое богатство тени и прохлады.

Этим станциям завидуют, туда мечтают перевестись, потому что есть станции, где всего пять акаций, есть разъезды с одной только акацией и есть разъезды, где не растет ничего.

Такой разъезд подвергается казни жаром и светом по восемнадцать часов в сутки.

Ночью, на трети сутки дороги, поезд проходит станцию Джусалы, втягивается в огромное болото Бокалы-Копы и подвергается нападению бесчисленных комариных шаек.

Стодвадцативерстные владения лихорадки, ее стоячие воды, поросшие мерзкими зелеными волосами и камышом, ужасны. Поезд баррикадируется, подымает оконные рамы и даже тушит свет. Но все это не в помощь.

Дохнувший во тьме и духоте пассажир все же слышит похоронный комариный звон над своим ухом. Комары ворвались в вагоны через тамбуры, через незавернутые вентиляторы, и изъязвленный пассажир, много еще дней спустя, глотает горьчайшую хину и ждет приступа малярии.

Поезд не спит всю ночь, отчесываясь от комаров. И волей-неволей бессонные глаза глядят сквозь окна на переливающуюся неровным светом карту звездного неба.

Пятое утро начинается станцией Арысь и захватывающим всесторонним жаром. С безумного неба льется не свет, а горячая, вплотную обтекающая тело, лава.

На станциях исчезает даже кислое молоко. Тут продают связки черепаховых щитов, живых черепах и черепаши яйца.

На всем восточном горизонте лежит белая, железная вата, снеговые отроги Тянь-Шаньского хребта. Впереди всех матовым и молочным светом сияет двурогая вершина Казы-Курта.

Это местный и по счету кажется уже десятый на земле Арарат. Жителями выдается за место остановки Ноева ковчега. Событие маловероятное, хотя еще и теперь киргизский певец, играя на домбре, подробно перечисляет всех животных, спасшихся в Ноевом корыте на вершине Казы-Курта.

Поезд медленно пробирается среди откосов красной глины, беря последний подъем перед Ташкентом.

Белый пар бежит по засохшим склонам. Реомюр в тени показывает 37°.

Это последнее усилие пустыни. Катясь по склонам Дарбазы, по сотне мостиков, пересекая оросительные каналы, поезд влетает в изумительный темно-зеленый и дышащий зеленью ташкентский оазис.

Горизонт застилают темные массивы пирамидальных тополей. Пепельные финиковые деревья блаженно жарятся на солнце. Качаются и шумят высокие стены джугары – тропического проса. Адские пески сразу переходят в ветхозаветный рай.

Проезжают арбы на тонких, величиной с мельничные, колесах. Мелкими шажками бегут крохотные ослики, с невероятным терпением вынося на своей спине многопудовых толстяков в снежных чалмах.

Но поезду нет удержу. Мимо библейских глиняных построек, мимо древесных кущ и роц поезд продолжает свой путь за Ташкент.

Под утро дорога вступает в ущелье Санзара – единственный проход сквозь горы Нура-Тау, древнейший путь торговцев, полководцев и завоевателей.

Справа на утесе высечены две арабские надписи. Нижнюю из них приводим в сокращенном виде:

«Да ведают проходящие и путешествующие на суше и воде, что в 979 происходило сражение между отрядом тени всевышнего великого хакана Абдулла-хана в 30.000 человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50.000 человек и служащих людей до 40.000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Побе-

див султанов, он из того войска предал столько смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно».

Хвастливая запись «счастливого обладателя звезд» задела тщеславие русского царя, и над арабской путаной вязью утвердился толстый позолоченный орел и надменная медная доска:

«Николай II 1895 г. повелел: „Быть железной дороге“. 1898 г. исполнено».

В февральскую революцию медная эта глупость была сорвана рабочими руками тех, о которых никто не писал на порфириновых скалах, хотя именно они пеклись живыми на прокладке полотна Среднеазиатской дороги.

Поезд гремит по мостику над арыком Сиаб. Пройдя лежащие расколотыми зеркалами затопленные рисовые поля, он шумно подходит к Самарканду, «лику земли», как звали его мусульманские писатели, древнейшему городу Средней Азии, история которого потерялась в тысячелетиях и теперь начинается снова словами:

«Столица Узбекистана».

1925

Глиняный рай

Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вагончики кладают по узкой колее и стремглав несутся в город.

Европейские его улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и, утверждают, прекрасно шоссированы. Так ли это, узнать невозможно, потому что они покрыты трехдюймовым пластом пыли.

В этих районах библейский Бог создал Адама, первого человека. Поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины. Здесь нет другого материала.

Весь старый город слеплен из глины.

Узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов, дувалов. Дома с плоскими, соломенными, залитыми той же глиной крышами выходят наружу только глухими своими стенами.

Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятка виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улице остается только висящая занавесами пыль и ошеломительное солнце.

В рыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчишки-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты. На затылке волосы оставлены и заплетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек.

По двое на некованом коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах и на диво скрученных чалмах.

Передний из них держит в губах розу. У второго роза заткнута за ухо. Они подпоясаны пестрыми ситцевыми плакатами, важны и спокойны.

Ушастый, большеглазый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки, гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которой он поколачивает ослика по шее, другой он держится за свою бороду алюминиевого цвета.

Под стенкой проходит женщина в голубоватой парандже – халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным, страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса.

Она обута в ичиги, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их – в кожаные, остроносые калоши. Мрачная ее фигура исчезает в водовороте пыли, поднятой проезжающей арбой.

Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются наземь. Над головой висит настойчивое и мощное солнце.

Больше ничего.

Это Иерихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова. Этому тысяча лет или две тысячи.

– Среднеазиатские республики, – говорил нам в поезде, довоенно и по-петербургски картававший молодой человек, – это Ветхий Завет плюс советская власть и минус электрификация.

О существовании советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была и наполовину есть еще сейчас.

Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую, синюю черту, и красными, крашеными ноготками.

Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо Гур-Эмир, могилы повелителя.

Железный Хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами.

С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосиновую лампочку и ведет в сводчатый холодный подвал.

Тимур, в четырнадцатом веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.

У обнаженных кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Железного Хромого.

В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое (ворами, которые хотели ее украсть) плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезен из Китайского Туркестана.

Базар начинается неподалеку от ив и карагачей, окружающих Гур-Эмир.

Над всем этим местом стоит непрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы. Медлительно тарахтят арбы. С бьющими наверняка, мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие. С круглого медного подноса продают вялые розы.

Весь базар похож на поднос с перепачканными розами.

Чалмы белые, пестрые и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом.

Затканые золотыми нитками тюбетейки сверкают на солнце быстро переливающимся светом.

Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают.

К текущим лавой разноцветным толпам подъезжают все новые конные группы. Сегодня базарный день. Тонколицы горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым улочкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов.

Внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек, торгующих местным, похожим на головки шрапнелей мылом.

Медные ряды оглушают звонким клепаньем молоточков: чеканят блюда, чайники и кумганы.

Половину базара занимает торговля московскими, пестрейшими ситцами. В лавочках тесно. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги на библиотечных полках. Пробриться в эти ряды почти невозможно. Уж с прохладного рассвета они туго набиты покупателями.

В конце главной базарной улицы расположен Регистан. Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитектуры. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шир-Дор. Квадратным обжигающим кубом на площади стоит солнечный свет. И выше стрижей, выше голубых минаретов Улуг-Бега мчатся над Самаркандом белокрылые коршуны.

Это добровольный придаток к старгородскому ассенизационному обозу. По мере мощных своих сил они способствуют очищению города от падали.

Чайханы наполняются. В них сидят, подогнув ноги на палласах, коврах без ворса, пьют зеленый горьковатый чай без сахара, едят круглые лепешки и дышат прохладой, которую дает бегущий под ногами арык и тень белой от пыли ивы. Из губ в губы переходит похрипывающий и пускающий белый дымок гилим, кальян.

Против чайханы прямо на земле разместилось точильное заведение.

Полуголый, светло-коричневый старик быстро тянет взад и вперед кожаный кушак, одетый на валик точильного камня. Так «старик-привод» работает до ночи.

Страна почти не знает машины.

И совершенно неизбежно, что в такой стране в машину превращается человек. Старик давно перестал быть человеком, он только привод к точильному станку.

Людам, мечтающим о «добром, старом времени, когда все было так чудесно», полезно съездить в Среднюю Азию.

Он увидит там тщательно описанный в Коране рай, красную глину, идиллические стада, земледельцев, покорных земле, пророкам и муллам пророка.

Но, кроме того, он увидит деревянный плуг, первобытный омач, которым дехкан обрабатывает свое поле. Перед омачом русская соха кажется завоеванием техники. Глиняный рай возделывается каторжным трудом.

Муллы, бородатые чалмоносцы, бешено вопят при всяком новшестве, и тракторы, маленькие пока отряды советского железа, с трудом пробивают себе дорогу сквозь ветхозаветные толщи.

Но в этой борьбе с тысячелетней косностью на стороне советской машины вся молодая, горячая Азия, проделывающая сейчас тяжелейшую дорогу от родового быта к советам.

Об этом в следующей статье.

1925

Азия без покрывала

Тяжелой, гробовой плитой лег ислам на прекрасные народы Азии.
Как солнце и луна, жизнь мусульманина сопровождает Коран, сборник откровений Магомета, и шариат, указывающий, как поступать во всех случаях жизни.
Уклонение от шариата есть кюфр, неверие.
Каждый уклоняющийся сейчас же после смерти будет взят в огненный адов переплет.
Ничего не нужно знать и не к чему стремиться. Шариат предусмотрел все, включая способы обработки полей, покррой халата и форму лепешек.
Он убил в мусульманах любознательность, остановил их развитие и создал две страшные язвы: затворничество женщин и многоженство.
Без покрывала, чачвана, ходят только древнейшие из старушек и девочки.
Девочка иногда продана уже с младенчества и знает, что у нее есть муж, в рассрочку уплачивающий отцу калым, цену жены.
Мухадам Сали-Хаджаева жила, как все, и даже хуже всех. Отец и мать ее умерли.
Мухадам осталась одна в отстоящем за пятнадцать верст от Самарканда кишлаке Каш-Хауз, и какая-то старуха из кишлака взяла ее к себе на воспитание.
Воспитывать молодую узбечку недолго и несложно.
До и после замужества она остается невеждой. Образование женщины дальше уменья печь нан, хлеб, и тканья маты, грубой и простой платяной ткани – не распространяется. Она низшее существо, и науки не для нее.
Девочка прислуживала старухе и росла.
Ее черная широкая бровь, милое лицо и персидские глаза возбудили в старухе жадность.
– Мухадам можно выдать замуж! Она стоит много баранов!
Девочка отказывалась, плакала и вспоминала отца.
– Ты у меня и дочь и сын! – говорил отец. – Ты всегда будешь со мной и замуж не пойдешь!
Но старуха думала только о богатстве, которое можно получить за девочку. Тогда Мухадам – розовый, черноволосый ребенок – решила умереть.
У торговца галантереей на кишлачном базаре она купила ртуть и влила себе в ухо.
Голова сразу наполнилась необыкновенным шумом. Густая боль засела в черепе. Кругом все смолкло.
Это ей только казалось. По-прежнему скрипели арбы, шумела падающая вода и кричал разгневанный вечной работой ишак.
Мухадам всего этого не слышала от шума в ушах. Вечером она легла спать, зная, что больше не встанет.
Однако утром она проснулась живой и здоровой. Во время сна ртуть вылилась из уха на постель.
Старуха снова заговорила о женихе.
Мухадам хотела броситься в хауз, но стало уже поздно. За ней следили: калым не должен был утонуть.
В кишлаке был клуб, но пойти туда оказалось невозможным, старуха не спала дни и ночи, все следила.
Мухадам терпеливо ждала, и в один из дней ей удалось выбежать из дому.
Чем может кишлачный клуб, настоящий советский клуб, без денег и даже без скамеек, помочь глазастой девочке, которая решила жить иначе, чем живут женщины ее племени?
– Мухадам, иди в Самарканд, – сказали ей в клубе. – Там есть женские курсы.
И Мухадам, мужественное дитя, пошла пешком по дымящейся дороге в Самарканд.

Всю дорогу она плакала и спрашивала, где женские курсы.

Вечером, когда сгоревшее солнце свалилось в пески, Мухадам прошла затихающий базар, много замощенных кирпичом тротуаров и вошла в белый одноэтажный дом, занимающий угол Ленинской и Катта-Курганской улиц.

В этом доме помещается одна из любопытнейших школ в мире. Это – центральные узбекские курсы ликвидации неграмотности при Наркомпросе Узбекистана.

Все ученицы этой школы, рассчитанной на то, чтобы в девять месяцев сделать из них учительниц по ликбезу, пришли сюда из кишлаков, и биография каждой из них не легче биографии Мухадам, теперь прилежнейшей ученицы.

Покрывала Мухадам уже не носит, и можно увидеть ее чудесные глаза, еще красные от плача на самаркандской дороге.

Но среди женщин, пришедших сюда из Ферганы, Хорезма, Кашка-Дарьи и долины Зеравшана, чтобы научиться жить по-советски, самой удивительной представляется жизнь Майрам Шарифовой, или, как зовут ее в школе, «русской Маруси».

Маруся, русская девушка, жила в девятнадцатом году в Оренбурге и, спасаясь от голодной смерти, вышла замуж за таджика Шарифова.

Венчаться пришлось по мусульманскому обычаю. Это не показалось страшным.

Мулла преподавал Марусе необходимое наставление, на полу разостлали дастархан – цветную скатерть, заставленную угощением, пришли гости.

Потом мулла развернул Коран над чашкой чистой воды, прочел что-то непонятное, задал полагающиеся вопросы, подул на воду, и венчание кончилось. Гости съели плов и ушли.

В Оренбурге Маруся прожила с мужем два года. Жила, как жила прежде, то есть была совершенно свободна, имела знакомых, бегала с открытым лицом на базар за продуктами, изредка ходила даже в кинематограф.

В двадцать первом году решено было поехать в Ташкент, к родителям мужа.

Их встретили очень ласково, но уже вечером муж завел длинный, путанный разговор, из которого Маруся поняла одно:

– Родители требуют надеть покрывало.

– Я этим ситом из конского хвоста лица не закрою!

– Не надо раздражать отца. Мы не на всю жизнь сюда приехали. Надень чачван. Через два месяца мы уедем в Россию. Будешь ходить как прежде!

Маруся была ошеломлена, но в чужом городе уйти не к кому.

– Потом, только на два месяца!

Она согласилась. Ее нарядили в длинное платье и пестрые шаровары до щиколоток, расплели косу на множество косичек, подарили чачван и серую паранджу.

Двухмесячный срок оказался басней. Даже через пять месяцев они никуда не уехали. За это время Марусю (теперь ее уже не звали иначе, как Майрам) энергично мусульманизировали.

Ее обучали языку и обрядам. А когда она упрямылась, приходил муж и заводил свою шарманку:

– Не раздражай отца! Мы скоро уедем!

В это время Марусю уже нельзя было отличить от настоящей мусульманки. Она научилась скромно и медленно, прижимаясь к глиняным заборам, ходить по улице, дома приготовляла нитки, красила их, ткала мату и, по обычаю, ни одно дело не начинала, не сказав вполголоса:

– Бисм-илля ар-рахман ар-раим! (Во имя Бога милостивого, милосердного).

Каждый день Маруся ждала и требовала отъезда. Но на шестой месяц ее жизни в Шайхантур пришло самое худшее.

Муж заявил, что ему надо жениться второй раз.

В четырнадцатом году, когда его, как таджика, взяли на военную, окопную работу, он в городе Ура-Тюбе оставил невесту. Она ждала его семь лет.

– Я должен жениться, чтоб не опозорить семьи. Я этого не хочу, я уеду в Россию. Но это будет позор.

Все семь лет старый Шарифов по три раза в год нагружал на арбу пудовый котел горячего плову, двести пятьдесят лепешек в корзинах и голову сахара. Яства покрывались куском шелка на два платья, и арба торжественно, чтобы все видели, отвозила подарки родителям невесты.

Теперь старик пришел к Марусе-Майрам и стал просить ее не мешать мужу жениться вторично.

И, как это ни странно, Маруся согласилась. Ей стало жалко семь лет ждавшей невесты.

– Может быть, она его видела в лицо и любит. Делайте как хотите. Но я в Ура-Тюбе не поеду. Пусть она приедет в Ташкент и здесь живет.

Но Маруся-Майрам, сама того не замечая, уже катилась вниз и на все соглашалась.

Когда муж женился и вторая жена отказалась ехать в Ташкент, Маруся не нашла в себе силы возражать и поехала в Ура-Тюбе.

Хайронисо, вторая жена, встретила ее словами:

– Это наша судьба. Примиримся с нашим положением.

Четыре года обе женщины жили как сестры, но жизнь в затворничестве стала Марусе невмоготу.

Она узнала, что брат ее служит красноармейцем в Полторацке, и написала ему. Брат примчался и, увидев сестру, был потрясен.

Перед ним была мусульманка – женщина, полузабывшая русский язык.

Он уговорил сестру пойти в женотдел. С этого началась обратная дорога Маруси в мир живых людей.

Муж разрешил ей ходить в школу ликбеза, но умолял чадры не снимать. Она ходила туда под покрывалом с мальчиком-проводатым и окончила ее в два месяца.

Женотдел несколько раз посылал ее заседательницей в народный суд.

На собрания родители мужа ходить ей не позволяли. Тайно от всех Майрам подала заявление о приеме ее в партию.

На заседании восьмого марта двадцать пятого года, в международный день работницы, на первом вообще собрании, в котором она была, женотдел передал ее в партию, и впервые за шесть лет Маруся открыла лицо, чтобы большими глазами посмотреть на новый мир.

Дома все пришло в смятенье. Отец мужа ушел из дому. Его братья вопили о позоре. Сам он молчал. С семьей пришлось порвать навсегда.

Теперь Маруся в самаркандской школе. Она узнала всю тяжесть [жизни] мусульманки и, когда кончит школу, пойдет работать в кишлак, чтобы освободить поработченную женщину.

1925

Драма в нагретой воде

Поручик с умеренно злодейской наружностью и добровольческим трехцветным угольником на рукаве бродит по вестибюлю первой кинофабрики. Сегодня режиссер Роом снимает сцены затопления парохода для своей «Бухты смерти». Темное бархатное лицо поручика изображает готовность совершить некоторые подлости.

Но ему еще рано. Сперва будут затоплены пароходный коридор и каюта.

Для этого в ателье сооружены две огромные ванны из листового железа. Они настолько велики, что в одну из них целиком вставлен длинный коридор морского парохода, а в другую – каюта.

– Лифшиц, крысы готовы? – спрашивает Роом.

Традиционно бегущие с корабля крысы не готовы. Лифшиц комически взволнован.

– Всякую грязную работу делает Лифшиц! Красить крыс должен Лифшиц!

Дело в том, что крыс достать не успели. Пришлось купить мышей, да еще белых.

Теперь, для большего сходства с крысами, их надо перекрасить в серый цвет.

Пожаловавшись на судьбу, Лифшиц берет горстку сажи и уходит на свою странную работу.

Сухое и мокрое

– Сначала сыграем сухие сцены. Потом мокрые.

Все готово. Актриса Карташева сняла жакет и распустила волосы. С аэропланном гудением зажгли и потушили прожектора. Свет проверен. Оператор приготовился. Двум солдатам из посредрабиса внушено, что они должны снести Карташеву в каюту. Солдаты приготовились.

Идет репетиция. С верхней площадки раздается голос Карташевой:

– Что, я без чувств?

– Вроде.

Актриса мигом закрывает глаза и болезненно опускается на руки солдат в суконных погонах.

– Приготовились! – кричит Роом. – Начали! Взяли! Понесли! Елизавета Петровна, глаза у вас закрыты! Так! Левая рука опущена! Товарищ солдат, головой вносите ее в дверь, а не ногами. Стоп! Еще раз!

Репетируют второй и третий раз, но у одного из солдат движенья по-прежнему не хороши, а лицо беспомощно-напряженно, будто он играет на большой медной трубе.

Когда сцена снята, Роом заинтересованно спрашивает его:

– Скажите, вы актер, электротехник или монтер?

– Я музыкант! – раздраженно отвечает солдат из посредрабиса.

Крысы

– Очистить коридор! Где крысы?

В клетке приносят перекрашенных мышей. Их только три.

– Больше нельзя. Все пальцы перекусили. Прокусывают кожаные перчатки.

Клетку ставят на пол.

– Пускай первую!

Мышка осторожно вылезает из клетки. Но напрасно Роом кричит свои «приготовились, начали, пошли».

Мышь испугана невыносимым светом и не движется с места. Даже подпихивания палочкой не действуют на нее.

Тогда все ателье, все монтеры, все белогвардейские солдаты, матросы, дежурные рабочие и сам злодейский поручик в золотых эполетах начинают мяукать, шипеть и всячески пугать бедную мышку.

Один лишь оператор остается спокойным. Он стоит на небольшом ящике у аппарата и ждет.

– Пошла!

Робко побежавшая мышь вызвала всеобщее сочувствие. Ее снимали крупным планом. На экране она будет большая и жирная.

Потоп

К ванне, в которой помещается коридор, вода подается шлангом из водопровода. Пар для согревания воды идет по железной трубе, выведенной в ванну от парового отопления.

Медленно, спокойно и неотвратно, как в настоящем несчастье, вода заливает пол. Светлые тени бегут по стенам пустынного коридора.

Это герой картины Раздольный открыл кингстоны белогвардейского парохода. Предполагается, что в одной из кают лежит без чувств Карташева. Спасать ее будет Раздольный.

Нагретая вода залила коридор выше колен.

– Давай волну! Сначала будет спасаться команда!

Сбоку, невидимо для строгого глаза аппарата, досками взбалтывают воду. Сцена идет без репетиции. Репетировать в воде, к крайнему сожалению для кинорежиссеров всего мира, невозможно.

– Свет! Приготовились! Первый, второй номера в воду.

Статисты храбро низвергаются в пучину и бредут в тяжелой, блистающей, как олово, воде. Они выдирают друг у друга спасательные пояса, показывают всю низость человеческой природы в минуту смертельной опасности, они поднимают своим барахтаньем океанские волны и спасаются наверх по мокрой лестнице.

Возвратившись назад и извергая из сапог, рта и носа струи теплой воды, они снова бросались в коридор и снова честно утопали.

Эти сцены сделаны были очень хорошо.

Борода в воде

– Приготовились! Пошел, Василий Ефремыч. Бороду только не замочи. Так, так! У двери стучи!

Увешанный пробками, Раздольный ищет героиню.

Она в это время уже очнулась и, ужасаясь, видит воду, бьющую сквозь двери в каюту. Сюда должен ворваться Раздольный, чтобы спасти героиню.

Но эта сцена будет снята позже. Потому что вода занята в коридоре и переливать ее в каюту будут только после того, как в коридоре все кончится. А сейчас Карташева считается уже спасенной, и могучий Раздольный уносит ее на своих голых плечах.

Бороду свою он все-таки замочил, и в то время, как пожарные перекачивают воду в каюту, Раздольный сушится у юпитера.

Вольтова дуга пылает, и борода дымится. По углам ателье матросы спешно сбрасывают с себя промокшее и отяжелевшее платье.

Прожектора поворачиваются и заливают неумолимым светом каюту. Они тухнут только после сцен в утопающей каюте.

В этот день ателье работало подряд шестнадцать часов.

1925

Неразборчивый клинок

Для постановки картины «Дороти Вернон» американцы соорудили настоящий средневековый английский замок.

Картину засняли, и она пошла гулять по экранам. А замок остался. Разрушать его было жалко. Кроме того, пропадали напрасно аршинные парики, башмаки с пряжками, ленты, банты и прочий исторический шурум-бурум.

В результате – еще одна историческая картина из времен борьбы английского парламента с королем, разыгранная в том же замке: «Клинок Керстенбрука».

Замок, специально приспособленный для картины, был хорош. Сценарий, специально приспособленный к замку, – менее удачен. Получилась картина, светящаяся отраженным светом.

Никакой такой борьбы парламента с королем, конечно, не было.

Просто на экране суеилось множество джентльменов в нарядной сбруе, в париках и кружевах. Все они находились в сложном, но для зрителя очень скучном, родстве между собой.

К половине картины некоторых джентльменов поубивали, и экран немного расчистился. Тогда выяснилось, что Керстенбрук – защитник парламента. До этого он смахивал просто на неистового дуэлиста.

Ричарду Бартельмесу, способнейшему актеру, делать было нечего. Сценарий давал работу только клинку. И шпага Керстенбрука работала вовсю.

Режиссер злоупотреблял крупным планом. Но, по правде сказать, смотреть в этом плане такое мужественное и выразительное лицо, как у Бартельмеса, было приятно.

Не убили Бартельмеса-Керстенбрука в этой картине только потому, что он главный герой и без него пришлось бы кончать дело много раньше.

Зато его мучили, избивали и оковывали цепями.

Это становится постоянным амплуа Бартельмеса. Он всегда, кажется, играет мужественного страдальца.

Хороши в картине пейзажи, зеленые леса и поляны «старой Англии». Но все это – вместе с париками и водевильной «борьбой» – взято напрокат из «Дороти Вернон» и в прокате изрядно попорчено.

Кстати, так и осталось неизвестным, чем же кончилась «борьба парламента с королем». Ибо всякая борьба прекратилась, как только «их уста слились в поцелуе».

Трафарет вступил в свои права.

1925

Банкир-бузотер

В летнем саду железнодорожников ст. Курск, в Ямской слободе, громкоговоритель расположен под экраном и работает во время демонстрации кинокартины. Получается чепуха.

Рабкор И. М. Лучкин

– Товарищи! Занимайте места согласно купленного билета!..

Товарищи занимают места согласно купленного билета. На экране прыгает зеленая надпись:

Жертва пампасов,
Или
Три любовницы банкира в 8 частях
2000 метров

Зал чрезвычайно доволен и радостным хором гремит:

– В восьми частях! Две тысячи метров!.. Ого!..

Между тем действие разворачивается со сказочной быстротой.

Ненасытные любовницы безостановочно и безоговорочно шлют свои воздушные поцелуи акуле-банкиру Смитту.

В это время громкоговоритель грозно мычит на всю Ямскую слободу:

– Алло! Алло! Алло! Говорит Москва на волне тысяча пятьдесят метров! Слушайте лекцию агронома Удобрягина о пользе рогатого скота в домашнем хозяйстве.

Нежный тенорок агро-Удобрягина наглядно иллюстрирует проделки хитрого банкира:

– Заболевание рогатого скота чумой наблюда...

Банкир (на вид здоровый дядя) беззаботно играет в карты, не зная, что на него надвигается страшная болезнь.

– ...приносят также молоко, которое особенно полезно детям... Особенно породистые...

Спасаясь от трех любовниц, неунывающая акула-банкир уезжает в пампасы на океанском пароходе.

– ...что же касается баранов, – заговаривает зубы агро-Удобрягин, – то таковые передвигаются стадами...

После ряда замысловатых приключений напроказивший банкир попадает в лапы свирепых тигров.

– ...овцы отличаются мирным характером и быстро привыкают к людям...

Громкоговоритель рычит, а зрители, распираемые массой впечатлений, тихо воют.

– Ну и штуку же я видел, Степановна!.. И-эк!.. В кинe сидел. Поучительные крестьянские виды показывали. Вроде банкира. Интересно. Сперва как бы чумой болел. А там ничего, крепкий мужик – поправился. И бабочки при нем. Три головы. Породы Смитт. Молоко давали. А он, банкир этот, пил. Говорит – детям полезно... Хозяйственная картина. А потом в кинe баранов иностранных показывали, не чета нашим росейским. По воде плывут стадами. И дым из них идет, как из мельницы... А напоследок комическое показывали. Смехота. Овцы на банкира бросились и шею ему намяли... А жалко, хорошего человека попортили.

1927

Пешеход

Наша жизнь в последнее время как-то обеднела сильными, незабываемыми минутами. Живешь по большей части в маленьком городке. Вместе с тобой живут еще четыреста двенадцать трудящихся. Триста из них женаты, остальные неохотно волочатся за девушками и вдовами, число которых доходит до полутора. Есть еще девятнадцать торговцев и одна особа с порочными наклонностями, девица только по паспорту. Всех знаешь в лицо.

Служба тоже не доставляет радости. Так все надоели, что стол личного состава, которым заведешь, невольно превращается в стол каких-то личных счетов. Все это очень скучно.

Не удивительно поэтому, что нашу общественность начинают волновать проблемы. Преисполненная столица насаждает на половые задачи, но провинция этим не интересуется. Ей хочется переменить обстановку, побегать по земному шару. Каждому хочется стать пешеходом.

Однако искусство хождения пешком очень трудно.

Неопытный пешеход взваливает на спину зеленый дорожный мешок и покидает родной город на рассвете. Уже в самом начале он совершает роковую ошибку – действительно идет пешком, любопытно глядя по сторонам и наивно перебирая ножками.

Назад он возвращается через несколько дней, не достигнув мандариновых рощ Аджарии, к которым так стремился. Он хромает, потому что ногу ему повредила встречная собака. Он бледен, потому что повстречался на дороге с лохматым гражданином, который в молчании отнял у него дорожный мешок, сандалии и рубашку «фантази».

Опытный пешеход чужд этим детским забавам. У него нет дорожного мешка, и он вовсе не считает лето лучшим сезоном для туризма. Двухнедельный или месячный срок для пешеходной прогулки он считает мизерным и не стоящим внимания. Он разом опрокидывает все мещанские представления о путешествиях с целью самообразования.

Пешком он ходит только в подготовительном периоде, пока не получает мандата от какого-нибудь совета физкультуры. Обыкновенно мандат напечатан на пишущей машинке с давно вышедшей из строя буквой «е», но это единственный изъян, во всем остальном мандат великолепен и читается так:

УДОСТОВЭРЭНИЭ

Дано сиз в том, что т. Василий Плотский вышэл в сэмлэтнээ пүтэшэствизэ по СССР с цэлью изучэния быта народностей. Тов. Плотский пройдэт пэшком сорок двэ тысячи килоэтров со знамзнэм N-го Совэта физкультуры в правой рукэ.

*Просьба ко всэм учрэждэниям и организациям оказывать тов. Плотскому всячэскоэ содэйствизэ.
Прэдсэдатель Совэта В. Богорэз
Сэкрэтарь Л. Пузыня*

Ослепленный будущими тысячекилометровыми переходами товарища Плотского, совет выдает ему также десятку на постройку знамени.

Этой скромной суммой пешеход вполне удовлетворяется. Он знает, что сразу рвать нельзя. К тому же десяти рублей хватит на проезд в скором поезде к ближайшему крупному центру.

Отныне пешеход Василий Плотский пешком уже не ходит. Пользуясь услугами железнодорожного транспорта, он перебирается в губернский город и посещает редакцию тамошней газеты, предварительно испачкав свои сапоги грязью.

В редакцию он входит, держа в правой руке знамя, сооруженное из древка метлы, и лозунг, похищенный еще из домоуправления в родном городе.

Удостоверение, написанное с турецким акцентом, оказывает магическое влияние даже на осторожных журналистов. На другой день фотографический портрет товарища Плотского и соответствующая подпись под ним украшают отдел «Новости физкультуры» на последней странице газеты.

Теперь для пешехода открыто все. Перед семилетним удостоверением и газетным интервью с портретом никто устоять не может.

Можно, конечно, таскать с собой еще связку лаптей, якобы предназначенных в подарок всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу, но можно обойтись и без этого.

И без лаптей на Василия Плотского посыплются блага земные.

Знаменитому пешеходу бесплатно отводится номер в гостинице, ему суют обеденные талоны, он получает денежные пособия для того, чтобы мог беспрепятственно выполнить свой великий пешеходный подвиг.

Через два месяца ему показывают музеи и достопримечательности, а еще через месяц, когда Плотский проезжает какой-нибудь маленький городок (четыреста двенадцать трудящихся, сто семьдесят пять вдов и девушек, тридцать частных и две особы с порочными наклонностями) на старинном, высоком, как кафедра, исполкомовском автомобиле – все глядят на него с почтением и шепчут:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.